



**Буллат
Окуджава**

ФОТО СЕРГЕЯ ВЕТРОВА

тоже банальность почти неприличная...

— Я одно время думал, что жанр исчерпан, пока не услышал Михаила Щербакова. Вернее, это уже несколько другой жанр. Но все надежды я сейчас связываю с ним. Не знаю, что он пишет сейчас...

— Отлично пишет.

— Во всяком случае, то, что я слышал два года назад, было замечательно.

— Давид Самойлов в "Юлии Кломпусе" вспоминал, что в свое время "не хватало Окуджавы" — интеллигенция пела что попало, в том числе и городские романсы, и дворовый фольклор... А что пели вы, пока не было песен Окуджавы?

— Главным образом народные песни. Они хорошо поются, в них есть какой-то секрет... Я многим обязан фольклору.

— А еще кому?

— Как поэт — Пастернаку и Киплингу, как прозаик — смею думать, что Толстому и Набокову.

— А вы знали, что Набоков прочитывал вас в "Аде"?

— Мне еще в семидесятых годах прислали книгу, и я знал об этом. Там цитируется "Сен-тиментальный марш". Я, конечно, очень обрадовался, но написать ему не решился.

— А "Песенка о Моцарте" не Бродскому посвящена? Там стоят инициалы "И.Б."...

— Нет, она посвящена Ире Балаевой. Я только потом узнал, что Бродскому нравились некоторые песенки.

— А сами вы любите его?

— Конечно. Больше всего — стихи с семьдесят второго, с отъезда, до начала восьмидесятых.

— С кем из шестидесятников вы дружите?

— Круг остался прежний, только мы видимся реже — из-за здоровья, из-за каких-то дел... Друзей не бывает много, но зато их круг постоянен. Я очень люблю Евтушенко, что бы о нем ни говорили, он человек добрый и независтливый. Это главная черта таланта — никому не завидовать, радоваться чужому успеху. Он всегда за кого-то хлопочет, он может восхититься чужой удачей, как-то по-детски добр... Сейчас ругают его антологию. Но ведь он предупредил, что это — его субъективный вкус! И вкус, я считаю, хороший.

— Ругают, по-моему, главным образом те, кого он не включил. А то, что он выбрал у вас, вас устраивает?

— Не помню, что он выбрал, потому что не в этом дело.

— В прошлом году не стало вашего друга Юрия Левитанского, в этом умер замечательный поэт Владимир Соколов. Насколько я знаю, эти люди в последние годы очень остро ощущали свою невостребованность, страдали от нее. Как у вас с этим?

— С Левитанским мы близко дружили, Соколова я знал меньше и относился к нему с уважением — кажется, взаимным. Были стихи, посвященные ему... Наверное, им — настоящим, превосходным поэтам — действительно казалось, что они невостребованы или забыты. У меня таких претензий нет. Во-первых, мне повезло — я засветился с гитарой. А во-вторых, я не слишком страдаю от того, что интерес ко мне сегодня меньше, чем, допустим, в семидесятые. Наоборот, собирать стадионы — ненормальная для поэзии ситуация.

— А как насчет нынешней московской ксенофобии, своеобразного московского шовинизма, который, кажется, культивируется московскими властями? Вот вы — один из символов Москвы...

— Какой я символ...

— По крайней мере этот ярлык на вас усердно клеили. Многим москвичам присуща ненависть к бомжам и страх перед беженцами. А вам?

— Нет, нет, что вы... Я с таким отвращением думаю о том отношении к беженцам, которое здесь укоренилось... Как можно бояться или ненавидеть этих людей? Мне хотелось бы думать, что это не злоба, а не развитость, безграмотность... При виде беженцев или бездомных я не испытываю ничего, кроме жгучего сострадания и жгучего стыда. В любой западной стране эту проблему уже решили бы из одних соображений престижа.

— Но наша российская черта, о которой я уже говорил, — безразличие к судьбе частного человека.

— А может ли у нас быть какая-то общепатриотическая национальная идея?

— Я настороженно отношусь к патриотической идеологии, потому что у нас не умеют отдавать Родине от государства. Любить государство невозможно — ему надо платить налоги, оно должно вас защищать, и только. А о любви к Родине говорить неприлично, человек ее любит, если не может без нее жить, а если он разглагольствует о своей любви — это подозрительно.

— Вечный вопрос: одни говорят, что страдание возвышает, что это школа жизни. Другие — что это школа унижения и ненависти, что от страдания никто еще не стал лучше. А вы как думаете?

— Унизительное страдание — от физической боли, от безденежья, от нищеты — унижает. Возвышающее — от несчастной любви — возвышает.

Любить государство невозможно!

*Взгл. кнуд. -
1997 - 20 марта -
- а 7.*

Только что Булат Окуджава опубликовал новый цикл рассказов — "Автобиографические анекдоты". В них он со всегдашней — и, может быть, даже более жесткой, чем обычно, — самоиронией рассказал несколько эпизодов из своей довольно печальной жизни, и все, кто Окуджаву любит, были счастливы снова услышать его интонацию. Может быть, интонация в литературе действительно дороже всего?..

То, что вы сейчас прочтаете, — не одна беседа с Окуджавой, а обрывки нескольких, потому что надо едетать ему долгими расспросами неловко.

— Булат Шалвович, вам не кажется, что, столь откровенно иронизируя над собой, вы несколько принижаете собственный образ как романтического поэта?

— Я никогда об этом не думал. Я в молодости относился к себе без насмешки, был весьма тщеславен, но жизнь сделала свое дело, сумев посмеяться надо мной.

— А как же "Я умел не обольщаться даже в юные года"?

— Нет, это преувеличение. Конечно, обольщался. Правда, был уже опыт войны... Но я и сейчас, когда пишу, чувствую себя гением. Без этого ощущения работать очень трудно. Потом перечитываю — и начинаю смотреть на себя трезво, а то и с отвращением.

— Чье мнение для вас что-то значит?

— Прежде всего мнение жены, я ей сразу читаю новые стихи, и чаще всего они ей не нравятся. Она упрекает меня за банальности. Мне сейчас гораздо труднее стало писать. В прошлом году я сочинил две-три песенки, и на каждую уходил месяц. А раньше я мог придумать песню за десять минут.

— И все-таки вы опять пишете песни, и я в прошлом году решил было, что это вновь признак благих перемен. Вы начали их писать в пятьдесят шестом — и сразу расцвет всего, потом написали много в начале восьмидесятых — и свобода...

— В начале восьмидесятых я действительно написал много новых песен — "Римскую империю", "Примету", "Молодого гусара", — но связано было это не с предчувствием перемен, а с тем, что у меня появилось время. Я лежал в больнице, делать мне было нечего, и я неожиданно стал сочинять. Никакого предчувствия близкой свободы у меня, правду сказать, не было: я знал, что все это кончится, но никак не ожидал, что при моей жизни.

— Вы в последнее время не любите давать интервью...

— Всегда не очень любил, потому что ничего нового я сказать не могу. Спрашивают меня главным образом об одном и том же, я вынужден перепевать какие-то банальности и сам себе становлюсь неприятен.

— У вас и автоответчик завелся — в видах защиты от избыточного общения...

— Совсем не поэту. Просто мне его подарили, я его поставил, а сам чаще всего забываю прослушать. У меня очень напряженные отношения с техникой. Я вожу машину, но никогда не научусь обращаться с компьютером, пишу всю жизнь от руки, потом перепечатаваю.

— А музыку вы как-то записываете? Вы же говорили, что не знаете нот...

— И никогда не знал, я могу одним пальцем подобрать свою мелодию на фортепьяно, но не записываю ее никог-

да. У меня не такие сложные мелодии, чтобы их забыть. Сначала я знал три аккорда, потом пять, потом один француз подсмотрел за мной из зала и насчитал уже семь...

— А какая из ваших песен поется труднее всего?

— В смысле вокала, если это можно так назвать, наверно, "Песня о молодом гусаре".

— Множество ваших песен существуют только в старых записях, жуткого звучания. Например, я лет пять уже ишу прилично записанного "Флейтиста", или "Аты-баты", или "Вилковские фантазии", но на приличные магнитофоны вы их ни разу не напели. У вас нет желания перепеть старый репертуар?

— Такая идея есть, и как только я оправлюсь от всех зимних хворей, мы с сыном начнем записывать старые песни. Пение, конечно, сейчас мне уже не доставляет никакого удовольствия, это в шестидесятые — семидесятые меня не надо было уговаривать, я шел в гости и знал, что людям нравились "на меня", так что пел без всяких просьб, с наслаждением. Уже лет десять мне это делать трудно, но когда аккомпанирует сын — получается какой-то новый жанр, становится интересно...

В общем, весной я надеюсь записать несколько старых вещей.

— Думаю, политическими вопросами вас уже доста-ли больше всего...

— Почему же, все мы в этом варимся, этой темы не обойдешся.

— Как вы относитесь к Лебедю?

— Отношусь сложно, потому что иногда он говорит вещи, которые меня корчат. Например, он называет себя интеллигентом, потому что у него два диплома. Я считаю, что интеллигентность от диплома никак не зависит, об этом говорил уже много раз. А иногда я Лебедею симпатизирую, потому что у нас на войне был похожий командир. Это был человек очень жесткий, требовавший беспрекословного выполнения всех приказов, но он же мог присесть рядом с тобой в окопе, расспросить, что и как дома... Он понимал солдата, был храбр исключительно... В нем была доброта, которую он прятал по своей застенчивости и сдержанности. Я не знаю, какой Лебедь политик, и меня многое настораживает в его поведении. Но военный он замечательный, судя по всему. Насчет остальных — посмотрим.

— А нынешний Президент не вызывает у вас окончательного разочарования?

— Я очень часто ему возражаю и даже веду с ним мысленные споры, как если бы он, конечно, многое раздражает в том, что происходит. Главным образом ощущение топтания на месте. Я все время хочу куда-то вырваться из замкнутого круга, но пока не знаю, куда. И вместе с тем я не

могу сказать, что окончательно разочаровался в Президенте или отрекся от него... Этот человек умеет признавать свои ошибки. И по-настоящему страдает, признавая их. Что до отдельных черт его характера, вызывающих у меня отторжение, — мы все из одной советской школы и все несем на себе ее отпечаток. Исключений нет. Все мы ждем распоряжения барина и не уважаем личность. Впрочем, неуважение к личности — болезнь российская, исконная, застарелая.

— Вас не восхищает народное долготерпение? В другой стране все давно бы взорвалось...

— Не знаю, долготерпение это или неприхотливость. То же — наша черта и то же — не самая лучшая. Может, потому и не меняется ничего. Я не люблю неприхотливых людей.

— Когда-то в интервью радио "Свобода" вы сказали, что Шамилю Басаеву со временем поставят памятник как человеку, остановившему войну. Эти слова сразу после Буденновска показались мне довольно рискованными...

— Я и сейчас от них не отрекаюсь. Чечня никогда не была покорна России, никогда не переставала быть внутренне независимой и никогда не могла простить сталинской попытки репрессировать чеченцев как народ. Воевать с чеченцами бессмысленно, война эта с самого начала была преступна — и по отношению к нашим, которые там гибли, и по отношению к ним. Я немного знаю российскую историю прошлого века.

— Вам не кажется, что культура — и наша, и мировая — сейчас в глубоком кризисе?

— Настоящего всегда немного, хорошая литература сейчас есть, а что меня тревожит всерьез — так это абсолютное засилье ресторанной культуры. В ресторане, конечно, не слушают "Онегина", но притопам и прихлопам место все-таки именно там. А сейчас они везде. Вообще говоря, замысел мне понятен: всякого рода притопы позволяют очень хорошо успокоить население и превратить его в толпу идиотов, а с толпой идиотов можно делать что угодно — они не будут ни сопротивляться, ни задумываться... Но и при исполнении этого замысла должен, мне кажется, быть какой-то предел.

— Что вы читаете, какую музыку слушаете?

— Мои музыкальные вкусы старомодны: Бетховен, Моцарт, Шуберт, Рахманинов, отчасти Прокофьев. Читаю я тоже в основном старые книги. Сейчас — неожиданно для себя — Алданова. Когда-то я прочел его и поставил на полку, ничего особенного не почувствовал. А сейчас стал перечитывать — и как будто скучновато, — оторваться невозможно.

— Спрашивать вас о судьбах авторов песни —

Встречался
Дмитрий БЫКОВ.